

«Фальстафом» уже не как с литературным образом, а как с живой реальностью. «В молодости моей,— вспоминает Пушкин,— случай сблизил меня с человеком, в коем природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание. \*\*\* был второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст» (XII, 160). Природа, конечно, подражать Шекспиру не могла. Тем более должно было впечатлять Пушкина необыкновенное чутье, поразительная прозорливость и несравненное художественное мастерство гениального драматурга, сумевшего так «угадать» природу, создать в таком соответствии с ней образ своего Фальстафа, без которого было бы утрачено как раз то, что ставит шекспировского «Короля Генриха IV» на совсем особое место в ряду других его хроник: широта картины исторической эпохи и в особенности яркая народно-реалистическая живописность расцветивающих ее красок.

Все это очень важно было и для в о с к р е ш е н и я автором «Бориса Годунова» избранной им исторической эпохи во всей ее истине. А в «Истории» Карамзина Пушкин находил и типологически близкий материал. На первом плане томов ее, посвященных установлению единой московской государственности,— деяния правящей верхушки, монархов, высшего духовенства, боярства. Но попутно упоминается «честным» историком и о тяжелом положении низов. Немногие, но красноречивые строки повествуют об этом и в рассказе о годах, непосредственно предшествующих периоду «многих мятежей»,— царствовании Бориса Годунова. Все нарастающая тирания царя и потворствующее ему «знатное духовенство», произвол и насилия бояр и «знатного дворянства», стихийные бедствия — повальные болезни («мор»), пожары, засуха и морозы, вызвавшие за два года до «явления самозванца» небывалый по своим размерам голод, охвативший всю страну... Сквозь эти эмоционально окрашенные строки в сознании читателей за ярким передним планом картины, набрасываемой историографом, проступает совсем не парадный фон — зрелище нищей, голодной, пьяной, разбойной, бродячей Руси — безликие фигуры крепостных слуг, прогнанных из-за голода своими господами, либо в жажде вольной жизни бежавших от них, подбирающихся, а то и разбойничающих на больших дорогах; «бродяг-иноков», бросивших свои монастыри и скитающихся по чужим обителям. Карамзин упоминает о двух таких «бродягах», Варлааме и Мисаиле, убежавших вместе с Отрепьевым из Чудова монастыря. А в выдержках из источников того времени, приводимых в примечаниях, рассказывается, что они, задумав «с образом ходити и на церковное строение збирати», вознегодовали на «Гришку» за то, что тот отказывался пить вместе с ними («творит себя яко свята»); там же указывается на недалекость Мисаила («прост сый в разуме»). Для Пушкина этого было достаточно, чтобы дать полножизненный образ своего Мисаила. Но для образа пушкинского Варлаама ни Карамзин, ни его источники почти никакого материала не содержали. Видимо, помогли здесь в какой-то мере поэту некоторые непосредственные впечатления от общения с настоятелем Святогорского монастыря и со священником церкви в соседнем с Михайловским селе Воронич, попом Шкодой. Но в основном поэт ориентировался на литературный прототип — все того же шекспировского Фальстафа.

В позднейшей заметке о характере Фальстафа Пушкин писал: «Главная черта его есть сластолюбие; смолоду, вероятно, грубое дешевое волочитство было первую для него заботою.... он растолстел, одрях; обжорство и вино взяли верх над Венерою» (XII, 160). Именно такими ярко выраженными «фальстафовскими» чертами и наделен состарившийся сластолюбец, обжора, пьяница, весельчак, балагур, буян пушкинский Варлаам, у которого тоже обжорство и вино стали главной заботой. «Эй, товарищ! Да ты к хозяйке присуседелся,— обращается он к Григорию.— Знать, неужна тебе водка, а нужна молодка — дело, брат, дело! У всякого свой обычай, а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка! Пьем до донушка, выпьем,